

Владимир Галактионович Короленко

## **Искушение**

**Короленко Владимир  
Галактионович  
Искушение**

Владимир Галактионович Короленко

Искушение

Страничка из прошлого

I

15 августа 1881 года около шести часов вечера меня "доставили" в Тобольск. Красивый полицмейстер в папахе сибирского казачьего войска выехал из своих ворот, когда увидел нашу тройку. Он быстро соскочил со своей пролетки, подошел к нам, поговорил с жандармами, потом подошел ко мне, взгляделся в лицо и сказал:

- Неужели... Господин Н... Ай-ай-ай! А помните, что я вам говорил год назад?

Год назад, в период лорис-меликовской "диктатуры сердца", начиналось, как мы тогда говорили, "веяние на запад". Из большой партии политических ссыльных восемь человек возвращены были с дороги обратно в Россию. Я был в числе этих первых ласточек.

Меня возвращали из Томска под надзор полиции в Европейскую Россию...

Тогда-то я и познакомился с красивым полицмейстером. Сначала у нашей маленькой партии вышла с ним ссора, так как нас хоте-

ли рассадить по одиночкам. У нас же были женщины и дети. Одна из них, г-жа М., мать грудного ребенка, сама не могла его кормить (она была очень болезненна), и В.П.Рогачева кормила своего и чужого. Рассадить их по одиночкам значило бы убить одного из этих младенцев.

Полицмейстер после моих сравнительно спокойных объяснений понял это, а сообразив вдобавок, что мы не подследственные и не выслаемые, а, наоборот, "возвращаемые", он и совсем махнул рукой. Женщинам нашли большую камеру, меня с спутником отвели в "подследственное". Не злой и не глупый по натуре, тобольский полицмейстер был, в сущности, благодарен мне за спокойное разъяснение положения, которое помешало ему сделать бесполезную и ненужную жестокость. Поэтому, провожая нас, он пожал мне руку и сказал:

- Ну, желаю всего хорошего. Знаете что? Я служу уже немало лет и не видал еще, чтобы люди, которых везли как политических в Сибирь, возвращались обратно.

- Бывало, господин полицмейстер.

- Знаю, да я не видал. Но вот чего уж наверное не бывало: чтобы попавшие вторично когда-нибудь опять возвращались. Итак, не говорю "до свиданья". Искренно желаю более вас здесь не видеть.

Я поблагодарил, и мы весело двинулись из Тобольска "на запад" - в Европу!..

После этого прошло около года. Я жил это время в Перми и успел написать очерк, где были изображены ужасные порядки тобольской тюрьмы.

Вслед за тем произошло событие 1 марта. Началось опять "веяние" - с запада на восток, которое прихватило меня с собой...

Одиннадцатого августа мои пермские товарищи и сослуживцы прощались со мною на дебаркадере. Я кланялся из уходящего вагона, сидя меж двух жандармов, а мне махали платками...

Поднялся какой-то шум, кого-то оттесняли, кого-то вели для составления протокола... Что-то туманило мне глаза, и суровые виды Урала, ель, сосна и камень неслись мимо быстро улетающего поезда... А пятнадцатого августа, как уже сказано выше, красивый то-

больский полицмейстер качал головою и говорил мне укоризненно:

- Ай-ай-ай! Господин N. Ну, теперь уже кончено! Говорил я вам, не послушались! Не видать вам теперь России, так и знайте! Жени-тесь здесь, обзаводитесь хозяйством и считайте себя сибиряком... Кончено.

Бедняга, очевидно, был плохой пророк. Через три года я еще раз ехал "на запад", но тобольский полицмейстер не был уже тобольским полицмейстером. Он был человек веселый, с эпикурейскими взглядами на жизнь, и как-то проштрафился столь серьезно, что даже сибирская Фемида не могла остаться слепой: красивый полицмейстер попал под суд и сам сидел в тобольском "замке"...

Но все это случилось после, а пока продолжаю рассказ.

Погрозив мне, в сущности, довольно весело, он опять вскочил на свою пролетку и приказал ямщику: "За мной!"

Наша тройка вихрем помчалась за его мохнатой папашой, обращая на себя внимание редких прохожих сибирского города, к губернаторскому дому.

Свидание с его превосходительством было коротко. Губернатором в то время был Лысогорский, прославившийся впоследствии суровостью своего режима по отношению к ссыльным. Меня он почему-то принял любезно, согласился исполнить мои маленькие просьбы относительно писем и телеграмм к родным, потом пошептался о чем-то с полицмейстером, то и дело поглядывая в мою сторону, как мне показалось, многозначительными взглядами... Наконец он сказал с благодушным видом:

- Ну-с, а теперь в тюремный замок.

И мы опять помчались за казацкой папашой.

В конторе тюрьмы я увидел знакомое лицо "его благородия" тюремного смотрителя, жестокости которого я описал в своем очерке. Он тоже сразу узнал меня, и на его сухом, еще не старом, но несколько мрачном лице с деревянно-неподвижными чертами промелькнуло загадочное выражение. Полицмейстер распорядился, чтобы у меня не отнимали моих вещей и оставили в собственном платье, шепнув еще два-три слова смотрителю, лицо ко-

того при этом оставалось все так же неподвижно, а затем приветливо кивнул мне головой и уехал.

Я с невольной грустью проводил его глазами.

Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой мрачной обстановки... Я вспомнил свое "возвращение" год назад, вспомнил друзей и товарищей, с которыми тогда ехал, и почувствовал еще острее свое одиночество...

- В военно-каторжную, - сказал смотритель надзирателям, окончательно "приняв меня" у жандармов.

- Как, в военно-каторжную? - удивился я. - Ведь я не военный и не каторжный, даже не осужденный. Я только пересылаюсь административным порядком.

Смотритель не ответил ничего, а двое служителей уже взяли мои вещи. Я увидел, что здесь никто не расположен обсуждать со мной этот вопрос, и последовал за надзирателями.

Мы вышли из конторы в ворота, потом прошли небольшой двор и остановились у за-



пертых ворот другого. Мой провожатый приложил лицо к оконцу в воротах и крикнул дежурного. За воротами послышалось звяканье связки ключей, потом калитка отворилась и опять захлопнулась за нами. Теперь трое крепко запертых ворот с тремя огромными висячими замками отделяли меня от вольного божьего мира.

Двор, в который мы вошли, был узок. С левой стороны бревенчатый сарай цейхгауза примыкал к высокой тюремной стене, с правой тянулся одноэтажный корпус, с рядом небольших решетчатых окон, прямо - глухая стена тюремной швальни, без окон и дверей. Сзади ворота, в середине будка, у будки часовой с ружьем, над двором туманные сумерки.

В этом тесном пространстве, наверное, гуляли весь день военно-каторжные арестанты, но теперь их угнали, может быть, потому, что уже приближалось время проверки, а может быть, в честь моего прибытия. Пока я шел в своем черном пальто и шляпе, столь необычных в этом месте, на меня из каждого окна смотрело по паре внимательных глаз. Одиночные арестанты изучали нового пришель-

ца, держась руками за решетки и прильнув бритыми головами к отверстиям... Их бледные, тюремные лица выделялись в темноте окон резко и странно. Для военно-каторжного отделения мое появление было целым событием.

Мои провожатые прошли весь дворик. Входная дверь была в конце. Вступая в нее, я ждал увидеть длинный коридор и уже предвкушал интересные минуты первого знакомства с моими будущими соседями. Вот, казалось мне, захлопнется дверь коридора, провожатые уйдут, я подойду к своей двери с круглым глазком и прислушаюсь. И наверное, услышу какое-нибудь приветствие или вопрос:

- Эй, политический, хочешь сигарку?

А затем пойдет в ход изумительная по изобретательности и ухищрениям тюремная почта, и не одно, быть может, доброе движение души, не один задушевный рассказ из-за запертой двери вновь скрасят мое пребывание в этой тюрьме, как это бывало не однажды... И еще раз я повторю себе старую истину, что люди - всюду люди, даже и за стенами

военно-каторжной тюрьмы.

## II

Мне, однако, пришлось горько разочароваться. Пройдя узкий входной коридорчик, мои провожатые повернули не направо, как я ожидал, в общий коридор военно-каторжного корпуса, а налево. Мы очутились в маленькой конурке с кроватью и с сильным жилым запахом, не похожей, однако, на тюремную камеру. Дело объяснилось, когда ключник отпер еще одну дверь, и меня пригласили войти в открывшуюся "одиночку".

Теперь я понял! Мне как заключенному придают особенную важность: я буду отрешен от всего, даже от тюремного мира. Меня запрут здесь, а в первой комнатке всегда будет находиться сторож, чтобы мешать всякому сообщению со мной арестантов. Итак, к трем воротам, отделявшим меня от вольного света, присоединились еще трое дверей, которые должны были отделить меня даже от мира тюремного.

- Ну, пожалуйста, - сказал мне один из тюремщиков, увидя, что я не решаюсь переступить порог камеры. А другой прибавил грубо:

- Ступай, ступай, нечего!

- Нечего, - сказал и дежурный унтер-офицер, начальник нашего караула.

Что-то поднялось во мне неопределенное, но тяжелое. Это было сожаление к себе, точно к кому-то другому, но такое острое и жгучее, соединенное с таким сознанием несправедливости и насилия, что я был готов кричать, ругаться, сопротивляться. Но это было именно только мгновение. Темперамент у меня несколько иронический и спокойный, и, кроме того, во многих подобных случаях меня спасало любопытство. Если я окажу сопротивление караулу, - я знал, что буду избит, может быть, изувечен, может быть, умру в тюремной больнице, и мои родные будут извещены, что я умер от тифа. В этом будет, пожалуй, убежден искренно даже и сам его превосходительство г. губернатор Лысогорский и только разве красивый полицмейстер сомнительно покачает головой. А впрочем, ему какое дело... Ну, а если я войду в назначенную для меня камеру, то еще не знаю наверно, что будет дальше.

И я вошел и слышал, как последний замок

щелкнул за мной с металлическим, довольно музыкальным звоном, который я до сих пор слышу в памяти, точно это было вчера. Потом еще хлопнула дверь, и я остался один.

Моя камера имела три с половиной шага в ширину и шесть в длину. Потолок у нее был сводом, стены выбелены известкой. Но так как от ветхости с них, очевидно, много раз отваливалась штукатурка и белили их по образовавшимся неровностям, то все они были как-то пестры и грязны, на неровностях и выступах сидела траурными темными каемками густая пыль. У задней стены стояла круглая печка, у двери в стене было проделано отверстие, закрываемое железной заслонкой. Сюда подавали заключенному пищу и воду (очевидно из этого, подумал я, что ключи от двери хранятся не у моего сторожа, а в конторе). Дрянная "парашка" - старое и ржавое железное ведро с крышкой распространяла острый аммиачный запах, к которому я, однако, скоро притерпелся. Деревянная кровать и небольшой столик составляли всю меблировку.

Свету в камере было совсем мало. Правда,

начинались сумерки, но все-таки на дворе еще было светло. Я подошел к окну, которое было довольно высоко, и убедился, что пространство против окна, выходящего во дворик и находившегося между крыльцом и глухой стеной швальни, было забрано высокими досками, позволявшими видеть только небольшой клочок неба.

Я скинул с себя пальто и, подойдя к этому окну, облокотился на стол, поднял лицо кверху и долго смотрел на клочок неба, прорезанный четырехугольными силуэтами высоко поднявшихся досок. Больше, правду сказать, мне и делать-то было нечего. А в этом клочке неба, светившем и мерцавшем ко мне сверху, тихо продвигались облака, лотом появился рог молодого месяца, который медленно проплыл в своей вышине, причем мне казалось, что он осторожно пробирается по ребрам моего дощатого забора. Он напоминал мне о широком и вольном божием свете, о полях и холмах, которые я видел так недавно, о том, что через несколько часов на него так же будут смотреть глаза дорогих и близких мне людей и, может быть, вспомнят обо мне. Но никто не

угадает, что я теперь отделен от всего живого мира в этой странной келье, где даже клочок неба и месяц вижу, пожалуй, лишь по начальственному недосмотру...

Потом месяц стал углом на последнюю из досок, постоял на ней с полминуты и скрылся из моего тесного горизонта, оставив меня в моей конурке с сердцем, преисполненным тоской, разнеженностью от воспоминаний и сожалением о себе... К глазам в этой темноте подступали слезы. Мне хотелось кинуться на свою кровать, уткнуться лицом в подушку и, пожалуй, заплакать, как я плакал когда-то ребенком.

Но я этого себе не позволил. Во все время моих скитаний по тюрьмам я старался строго держать себя в руках и никогда не позволял себе в заключении трех вещей: спать днем, валяться на кровати, когда не спишь, и затем отдаваться этим порывам разнеженности, когда к ним соблазняло одиночество, тоска и порой расстроенные нервы.

И теперь я не поддался, даже не лег, и стал думать: что же, однако, значит это странное обращение со мной? И зачем меня посадили

в эту клетку, явно назначенную для самого строгого, из ряду вон, заключения? Тысяча самых диких мыслей приходила мне в голову. Мне стало казаться, что я никогда уже не выйду отсюда: я вспоминал выражение лица Лысогорского и тихое перешептывание с полицмейстером, ласковое сожаление в красивых и беспечных глазах последнего, новый шепот его со зрителем и каменное лицо "его благородия". Потом вспоминался самый род моего исключительного преступления, которое, как мне сказал добряк губернатор в Перми, не предусмотрено кодексом обыкновенных наказаний, но и безнаказанным остаться не может. Потом пришло на память обстоятельство, которое вовсе не казалось странным в свое время: что этот добряк уехал из города накануне моей высылки, - и теперь я объяснил это побуждением Пилата, умывающего руки...

Все это было дико, мрачно, нелепо, но ведь положение мое тоже было и дико, и мрачно... Я посмотрел на крепко запертую дверь, на железную печку, на стены каменного мешка... Здесь можно погибнуть безвестно и на-



всегда... Потом пришло в голову, что если закрыть эту печку с угаром...

Вообще начинался какой-то странный кошмар...

III

- Барин, возьмите свечку!

Отверстие в стене, вроде печной дверки, открылось; в него мелькнул свет, и протянулась рука с подсвечником. Камера осветилась, но не стала приветливой. Я взял свечу не торопясь. Мне хотелось заговорить с моим сторожем. Голос, которым он сказал эти слова, был грудной и приятный. В нем слышались простые ноты добродушного человека, и я тотчас же вспомнил, что это тот самый, который первый пригласил меня в келью деликатным "пожалуйста".

И, взяв свечу из руки, я сказал, наскоро придумавши предлог для продолжения разговора:

- Послушайте, я голоден.

- Ах, барин, - ответил невидимый сосед, - нынче вы уже не записаны, вам не полагается.

- В конторе мои деньги, нельзя ли сходить

купить чего-нибудь.

- И, барин, невозможно! Здесь строго. Кабы в общей или в подследственной, а здесь ведь военно-каторжная.

Он говорил тихо, как будто боялся, что наш разговор кто-нибудь все-таки может услышать. Потом как-то нерешительно протянул руку, взялся за заслонку, чтобы закрыть ее, рука еще задержалась, как бы в нерешительности, и, наконец, он захлопнул дверку.

Тогда я сразу почувствовал, что я действительно очень голоден. С утра я напился только чаю, рассчитывая, что мы приедем еще рано в Тобольск. Я думал, что мы только явимся к полицмейстеру и тотчас же поскачем дальше. Остановка в этом мешке совсем не входила в мои расчеты. Теперь, несмотря на волнения этой неожиданности, голод вступил в свои права. Я поставил свечку на уступе железной печки и разложил свою постель на кровати. Потом опять сел, попробовал было взглянуть в окно, но клочок неба был темен, а доски подошли совсем близко, освещенные желтым огнем из моего окна. Я отвернулся и

стал оглядывать стены. Заслонка опять тихо отворилась. Я подошел к ней. Рука протянулась, и сторож просунул деревянную чашку, в которой было немного щей, и кусок хлеба.

- Не побрезгуете, может, - сказал он с радующимся простым человеком.

Я немного колебался.

- Не побрезгуйте, - повторил он.

- А сами вы? - сказал я нерешительно.

- Мне что. Я обедал. А вам с дороги.

Это была правда. Я победил в себе легкий протест против этой подачи тюремщика, в лице которого видел теперь простого, доброго и деликатного человека. Я взял чашку и хлеб... Через четверть часа он заглянул в круглое отверстие двери и сказал:

- Кончили, господин?

- Кончил, спасибо.

- Пожалуйста чашку. А то скоро поверка будет. Смотритель увидит у вас мою чашку. Неловко.

Добрый человек, очевидно, опасался обнаружить перед "его благородием" излишнее по отношению ко мне добросердечие.

Действительно, вскоре в мою конурку про-

ник заглушенный стенами рокот барабана, и через четверть часа в комнате сторожа столпились звуки шагов, голоса, звяканье шпор и стук прикладов. Моя дверь быстро отворилась, и все эти звуки хлынули в мою одиночку. Несмотря на привычку, трудно преодолеть некоторое смущение, когда дверь отворяется и десяток незнакомых людей смотрят на вас лишь затем, чтобы посмотреть. Впереди стоял офицер, еще молодой и потому тоже несколько смущенный. Рядом виднелось каменное лицо "его благородия". Последний окинул опять мою конурку, меня и мои вещи загадочным взглядом, в котором я прочитал что-то вроде внутреннего удовлетворения. "Его благородие" находил, по-видимому, что все идет совсем хорошо.

- Тридцать четыре! - прочитал офицер по списку.

Фельдфебель ответил: "Есть!" - и дверь опять захлопнулась.

Я чувствовал себя усталым, не спал от самого Екатеринбурга, где в то время кончался железнодорожный путь, или спал только в почтовой телеге. Поэтому я позволил себе

лечь раньше обыкновенного.

Эпизод с чашкой и присутствие за стеной добродушного человека разогнали пока мои мрачные мысли. Я лег и заснул вскоре крепким и беззаботным сном.

#### IV

Наутро, проснувшись довольно рано, я быстро оделся, умылся из кружки над "парашкой" и стал оглядывать свое жилище...

Прежде всего мне бросилось в глаза на стене большое пятно, продолговатое, точно написанная строчка. Подойдя ближе, я увидел, что это была действительно надпись, глубоко врезанная гвоздем в стену и после тщательно сцарапанная скребком. Очевидно, это была фамилия моего предшественника, прежнего жильца этой камеры. Казалось, разобрать ее было совершенно невозможно. Я подумал, что мне может разрешить этот вопрос мой сторож, и потому, тотчас после проверки, постучал в дверку.

- Послушайте, - сказал я.

- Чего тебе? - ответил грубый голос.

Я с грустью убедился, что у меня сменили сторожа. Это был теперь тот из двух моих вче-

рашних провожатых, который первый назвал меня на "ты" и грубо требовал, чтобы я вошел в камеру.

- Во-первых, незачем "тыкаться", - сказал я, по возможности спокойно.

- Поговори у меня!

Я отошел от двери.

Нет таких иероглифов, которых нельзя было бы разобрать, сидя в одиночке. Я по десяти раз подходил к затертой надписи и простаивал перед ней по полчаса. Она интересовала меня тем более, что, кроме нее, нигде на стенах камеры не было написано ни одного словечка, тогда как обыкновенно стены всех камер исписаны кругом. Кусок карандаша, а то уголек, гвоздь или обожженный конец спички служат орудиями этой стенной тюремной литературы. "Здесь еврей N страдал без вины", - такова была первая надпись этого рода, которую я прочитал во время первого же моего ареста в полицейском участке. Затем утомительный ряд черточек на стене отмечал день за днем бесконечную вереницу этих дней, проведенных страдавшим без вины евреем. Помню, я насчитал их тогда семьдесят

две, и мне казалось совершенно немислимым, чтобы меня, именно меня, Владимира Короленко, ни в чем не обвиняемого, могли продержатъ дольше этого срока. Потом и я начал ставить свои черточки, и увы! - если сосчитать все число дней, которое я провел, как и этот неведомый страдалец, в четырех безмолвных стенах, то их оказалось бы во много раз больше!

Обыкновенно к этим начертаниям начальство относится довольно терпимо. В пересыльных тюрьмах Сибири стены сплошь исписаны этими обращениями к будущим жильцам камер. "Скажите, братцы, Дуньке Полтавской, станет ее Никифор поджидать в Ачинске". "Братцы, Иван Семенов из Тюмени - изменник общества". "Прошел в сентябре месяце Павел Гаркушин на каторгу. Кланяюсь землякам". И т.д., и т.д. Порой лирическое излияние, в прозаической или стихотворной форме, разнообразит эти своего рода публикации, вызванные желанием оставить где-нибудь слух о своей горькой жизни или передать деловое сообщение.

В моей камере все эти надписи были тща-

тельно затерты, и по ним еще побелили известкой. Оставалась одна в виде широкого, длинного углубления, врезанная слишком глубоко для того, чтобы можно было ее уничтожить бесследно.

Исследуя ее, я заметил, во-первых, что рывина разделялась на две части. Вторая часть была короче. Очевидно, фамилия состояла из меньшего числа букв, чем имя. Имя говорило мне мало, фамилия могла быть все-таки известна...

И я тщательно занялся фамилией.

Она, очевидно, начиналась с кружка и кружком кончалась. Следы округленных букв остались довольно заметны. Я сосчитал затем число углублений, соответствовавших буквам, и после многих соображений пришел к заключению, что их было шесть. Тогда, принимая, что первая буква могла быть Ф, а последняя Ъ, внезапно был осенен догадкой, вскоре принявшей форму полной уверенности.

Да, несомненно, я был в камере Фомина.

V

Почти год назад, с двадцать пятого августа,



как уже было сказано выше, я провел несколько дней в той же тобольской тюрьме, только в другом ее отделении. Однажды к моей двери подошел арестант, по фамилии, кажется, Ефремов, и передал мне записку, написанную на обрывке серой бумаги. Из нее я узнал, что в тобольской тюрьме, в военно-каторжном ее отделении, сидит уже третий год в строжайшем одиночном заключении политический осужденный, "именующий себя Фоминым".

История его была еще свежа у всех в памяти. После так называемого большого процесса (1877-1878 гг.) осужденных Ковалика и Войнаральского, видных деятелей мирного периода революционной борьбы, перевозили из Петербурга для заключения в Белгородскую харьковскую центральную тюрьму. В это время среди белого дня, на шоссе, на виду у косцов и жниц, работавших в поле, на почтовую тройку, в которой сидел Войнаральский и два жандарма, напали двое верховых, которые выстрелом из револьвера убили одного из провожатых и долго гнались за убегавшей по шоссе тройкой. Боязнь ранить арестанта ме-

шала нападающим стрелять, а быстрота лошадей - догнать их. Вскоре они отстали, и уцелевший жандарм с убитым товарищем и с арестованным Войнаральским поехали дальше. Они уже были близко от места назначения, когда с проселочной дороги на шоссе выехал еще один всадник и поехал навстречу. Жандарм приготовил револьвер в полном убеждении, что это запоздавший сообщник. Всадник проехал мимо.

Впоследствии в арестованном на вокзале молодом человеке жандарм признал этого последнего всадника, а дальнейшие розыски доказали, что этот молодой человек, "именующий себя Фоминым", - один из деятельных участников революционных кружков, что его самого пытались освободить в Одессе, во время процесса Ковальского, и что после этого он все-таки бежал из киевской тюрьмы. Побег был совершен с необыкновенной находчивостью и незаурядною смелостью. Боясь новых попыток освобождения, его после приговора увезли из России с такими предосторожностями, что долго никто не знал, куда его девали. Теперь в своей записке он сообщил мне, что

его везли под номером, что даже жандармы не знали его фамилии, что его сопровождал целый отряд из пяти жандармов, причем от участка до участка с ними скакали заранее предупрежденные заседатели, а на этапах, где происходили иногда остановки, "сбивали народ" и всю ночь жгли кругом костры.

Вся эта странная история показалась мне сначала несколько подозрительной: в тюрьмах очень много охотников рассказывать подобные вещи проезжающим политическим ссыльным, чтобы выманить деньги. Однако я ответил, и между нами завязалась переписка. Почтальоном служил арестант, подававший Фомину пищу.

Как ни строго было заключение, долгая практика всегда укажет известные бреши, - и порой арестант мог перемолвиться с Фоминым словом или передать записочку. Это меня не удивило.

В одной из записок Фомин сообщал, что он сидит в своей конурке третий год безвыходно. Его не пускают гулять, даже не водят в баню. Раз в месяц вносят в камеру большую ванну, и он моется в присутствии сторожа и

смотрителя. При этом у "его благородия" хватало совести насмеяться над заключенным, который - "ишь ты, моется в ванне, как барин".

Единственным развлечением Фомина было приготовление фигурок и игрушек из мятого хлеба, искусство, которое на моей памяти процветало среди заключенных за восстание поляков. Мой родной город, Житомир, был тогда переполнен этими изделиями, так как покупка их была легальной формой помощи арестантам.

Фомин изловчился сделать глобус и подарил его ребенку зрителя. Тогда зритель позволил ему продолжать ремесло, и Фомин сделал уже весь планетарий, для чего пользовался проволокой из оконной решетки. Зритель и на это посмотрел благосклонно, так как он стал продавать эти изделия на сторону, платя Фомину по рублю. Сколько он сам получал - оставалось неизвестным.

Понемногу я переслал Фомину бумаги, конвертов, десять рублей, тщательно заделанных в конец копченой колбасы, и, нако-

нец, несколько стальных перьев, кисть и кусок туши, которая всегда бывала со мною (очень удобно хранится и служит вместо чернил).

Особенные сомнения внушали мне деньги, так как арестант-посредник едва ли бы удержался от искушения. В тот же день, когда я послал их, к нашей двери явился высокий молодой арестант, назвавший себя тюремным старостой. Это был человек располагающей наружности и державший себя вполне независимо.

Он спросил у меня, не пересылал ли я Фомину денег, и предупредил, что Ефремов человек ненадежный. "Общество" ему не доверяет, и староста боится, что он украдет деньги, назначенные Фомину. Я, конечно, не имел тогда оснований особенно доверять и этому своему собеседнику, который легко мог быть подослан не "обществом", охранявшим интересы одиночного узника, а смотрителем. Поэтому я холодно ответил, что это дело мое, и мы расстались не особенно дружелюбно.

На следующий день я получил через Ефремова записку, написанную, как и предыду-

щие, очень простым шифром. Деньги и все остальное дошли по назначению. Тем не менее, забегаая вперед описываемых событий, я должен сказать, что теперь я с чувством уважения и благодарности вспоминаю о старосте и о честном предостережении со стороны тюремного общества.

В сентябре того же года, которым начинается настоящий рассказ, то есть через год с небольшим после моей переписки с Фоминым, я был в Томске. Там меня посадили в общую камеру в так называемой "содержащей" (тюрма, назначенная для приговоренных на сроки к тюремному заключению). Оказалось, что Ефремов был в это время там; он уже кончил свой срок и пересылался на поселение, но его держали особо от пересыльных, так как над ним тяготела гроза тюремного общества. Оказалось, что Фомин написал письмо и дал Ефремову денег на подкуп сторожей, которые бросили письмо в почтовый ящик. В письме Фомин извещал товарищей о своем заключении и просил помощи. А так как на его имя всякие сношения были абсолютно невозможны, то для высылки

денег он дал адрес Ефремова, который около этого времени оканчивал срок. Действительно, вскоре Ефремов получил семьдесят рублей от имени будто бы своих родных. "Общество" знало, кому назначены деньги, и потребовало, чтобы Ефремов честно передал их Фомину. Ефремов отлынивал и наконец вышел из тюрьмы для отправки на поселение. В это время я и встретил его в коридоре томской тюрьмы и не узнал, так как не видал его около года. Однако не мог не обратить внимания на то, что встречный арестант, с лицом, напоминавшим мне что-то, потупился и как-то сжался при встрече, точно виноватая собака. На следующий день в "содержающую" пришло из пересыльной сообщение о том, что Ефремов есть "изменник общества" и об его поступке с Фоминым... Его жестоко избили.

Целый день несчастный прятался под нарами в пустых камерах, а во время поверки кинулся в ноги смотрителю, прося, чтобы его перевели в секретную. Я стал просить арестантов, со своей стороны, чтобы они пощадили несчастного негодяя. Мне ответили, что в этой тюрьме жизни его не грозит опасность.

Сидящие на сроки не решатся сделать "крышку", но бить его будут все время, как собаку, походя и при всяком случае. Если же тут были бы каторжане, то никакая секретная не спасла бы изменника, так как Фомина, заключенного с такой строгостью в каторжной тюрьме, они, не зная лично, считали все-таки своим.

## VI

С тех пор как я посылал деньги и перья Фомину, прошел год. И вот сам я сижу почти в том же положении и, судя по всем признакам, в той же камере. Он писал мне, между прочим, что ему стоит величайших усилий хранить недозволенные предметы, так как еженедельно у него производят тщательные обыски.

Теперь я стал разыскивать его тайники. Я осмотрел стены, рамы и окна, всякую черточку на железной печке, но ничего не находил подозрительного. Наконец я стал осматривать кровать. Она была деревянная, грубо окрашена темною краской. Исследуя каждый квадратный вершок, я заметил, что одно место спинки было слегка неровно и как будто



немного чернее. Я попробовал мокрым пальцем: палец оказался черным, между тем как в остальных местах краска не отставала. Тогда я стал скоблить это место. Оказалось, что оно закрашено тушью поверх тонкого слоя мягкого хлеба. Я сорвал тоненькую пленочку и увидел, что под нею, с искусством, которое присуще или самому ловкому столяру, или одиночному арестанту, в кровати вырезано углубление не больше трех квадратных дюймов и около 1/2 дюйма в глубину, закрываемое тоненькой задвижной дощечкой. Чтобы нельзя было заметить щелочек, искусная рука прикрывала дощечку слоем хлеба, который после окраски тушью давал полную иллюзию цвета и неровной густоты масляной краски. С волнением человека, находящего признаки ближнего в пустыне, я открыл эту заслонку. В углублении лежала свернутая бумажка, два стальных пера и кусок туши.

Прежде всего я жадно развернул бумажку. Это было мое собственное письмо Фомину.

Год назад я был доволен и счастлив. Неожиданная и благоприятная перемена в моей судьбе, возвращение "на запад", милое

общество случайно, но очень удачно собранных судьбою людей, в том числе несколько хороших женщин, - все это настраивало радостно. Помню, что я писал тогда в настроении счастливого человека, которому хочется передать частицу своего счастья другому. Я сообщал о нашем возвращении, о признаках новых веяний, толки о конституции, которыми ознаменованы были первые месяцы царствования Александра III... Помню, что ответ Фомина был полон горечи и сомнений.

И вот я теперь читал свое радостное письмо в той же камере...

Того, кому я писал, может быть, не было в живых. Я один, еду опять теми же местами неизвестно куда. А что, если здесь-то и есть конец моего пути? внезапная и горькая, опять мелькнула во мне эта мысль. Что, если через некоторое время у меня отнимут мое платье, мои вещи, мою постель, все, что напоминает мне о воле, - и принесут сюда арестантский халат, может быть снятый с плеч моего умершего предшественника, и дни бесконечной вереницей потянутся надо мной, не трогая меня, ни в чем не меняя моего положе-

ния, как идут они над могилой, как шли над Фоминым? И мне раз в месяц станут вносить ванну, и те же неуклюжие шутки, которые слышал Фомин, "его благородие" станет отпускать теперь по моему адресу... Ведь, в самом деле, род моего преступления не предвиден законом...

Эта мысль привела меня в такое состояние, что я в первый еще раз кинулся на свою постель, уткнувшись лицом в подушку. Подушка оказалась жестка и колюча. Перестилая постель, чтобы посмотреть, нет ли надписей на досках, я вывернул наверх лежавшую на ней лепешку, набитую соломой, превратившейся отчасти в труху. Может быть, эта тюремная подушка лежала здесь с того времени, как Фомин выплакал на ней свои последние слезы. Я не отбросил ее. Эта мысль доставила мне теперь своего рода горькую отраду. Пусть... так лучше!.. Так я полнее отдавался теперь мрачному чувству, поднявшемуся из глубины сердца.

Среди этих ощущений спустились сумерки. Я не вставал, изредка только подымал голову от подушки. В камере стояла полутьма.

Прежде я любил смотреть, закинув голову, на клочок вечернего неба, которое заглядывало ко мне светлым пятном. Теперь оно меня раздражало. Мне хотелось как можно полнее прислушаться к тишине моей сумрачной камеры, и, подымая голову, я нарочно отворачивался к двери, черневшей прямым четырехугольником. Около него и в углах было совсем темно. Черта разобранной надписи чуть-чуть виднелась на стене... И мне казалось, что здесь невидимо присутствует прежний жилец этой камеры. Когда я лежал лицом к его подушке, мне казалось, что он стоит надо мной и иронически качает головой с бледным лицом и воспаленными мрачными глазами. И мне слышался беззвучный шепот погибшего террориста...

- Мечтатели, слабые души, слепые... Что значат ваши средства перед силой, которая не считается ни с чем и последовательна в своих проявлениях? Нет, надо было принять десять присяг и, произнося слова клятвы, обдумывать средства мести за нас, погибших, и для освобождения живых...

Моя голова становилась тесна для этих

жгучих мыслей, как тесна была эта каморка для всяких планов борьбы и мести. Я вскочил, присел на своей постели, охватил голову руками и пытался призвать к себе обычное самообладание.

В это время загремели опять запоры, опять сторожка наполнилась звоном сабель, шпор и ружей, опять запахнулась моя дверь. Мне показалось, что это решается моя судьба, что меня сейчас или уведут отсюда, или отнимут мои вещи и оставят здесь навсегда. Мне кажется, что в последнем случае я способен был в эту минуту на какое-нибудь безумство. Но я забыл - это была просто поверка.

- Тридцать четыре!

- Есть!

По какому-то внезапному, инстинктивно-му побуждению я вскочил со своей постели.

- Господин смотритель, - сказал я.

- Что еще?

- Я желаю видеть полицмейстера и прокурора.

- Это лишнее.

Офицер сказал что-то смотрителю, а тот опять обернулся.

- Что вам нужно?

- Я хочу принести жалобу. Меня, пересыльного, держат в каторжной одиночке. Вы не выпускаете меня гулять, я не могу написать письмо, я чувствую себя нездоровым.

Смотритель не ответил ничего; поверка ушла.

## VII

Однако на следующий день меня выпустили гулять.

Целый день по дворику ходили каторжане, порой слышался звон кандалов, порой, когда солнце светило прямо в мои доски перед окном, в щели между ними можно было видеть мелькающие тени. Когда же барабан отбивал свою дробь и тюрьму закутывали молчаливые сумерки, тюремная жизнь уходила в камеры. Тут до огня бродяги рассказывают о своих похождениях, порой молодой и надтреснутый голос говорит с тоской о своем "несчастье", о судьбе, о преступлении и как оно случилось. Порой циничный и удалой рассказ каторжника-убийцы резко звучит среди молчаливой камеры, редко одобряющей излишние откровенности.

В это время меня выпускали на полчаса. Ворота были тщательно заперты, солдат дремал у будки, поддаваясь тихому веянию сумерек, переполненных тенями, неуловимым шепотом, просачивавшимся будто сквозь стены тюрьмы, и отдаленным рокотанием колес в городе, за тюремной стеной. Я ходил взад и вперед, от глухой стены швальни до ворот, между цейхгаузом и корпусом каторжного отделения. Надо мной было небо, казавшееся мне теперь неизмеримо глубоким, а над воротами, невдалеке, на меня глядели окна с занавесками и цветами. Эти окна меня очень удивили. Потом я сообразил, что это, наверное, частная квартира смотрителя. В один вечер что-то замелькало между цветов. Вглядевшись в неопределенный сумрак, я различил, однако, голову и лицо ребенка. Дитя смотрело, должно быть, на мою одинокую фигуру, невиданную и странную, в черном пальто и шляпе, в этом царстве серых халатов и военных мундиров.

Пока я гулял, мои сторожа должны были находиться тут же, во дворике. Таким образом, меня караулили двое. Сторож обычно-

венно садился на толстый обрубок, вроде того, на каком мясники разрубают мясо. Этот обрубок стоял недалеко от ворот. Солдат стоял у середины узкого пространства. Таким образом, гуляя от ворот до швальни, я постоянно был у них на виду.

Впрочем, был небольшой уголок, прямо против входной двери в коридор, где я мог быть невидим для обоих. Цейхгауз, пристроенный к тюремной стене, был не во всю стену. Между ним и перпендикулярной стеной швальни оставался четырехугольник, на котором валялись кучи мусора и отбросов. Бревенчатая стена цейхгауза упиралась прямо в каменную ограду. Когда я подходил к этому концу двора, маленький пустырь оставался у меня на левой стороне. На него выходило мое окно, забранное досками (всякий раз, как я глядел на эти доски, мне становилось как-то жутко думать, что за ними мое жилье). Затем наше крылечко с тремя ступеньками. Его дверь была обыкновенно открыта, и в нее виднелся короткий, тупой коридорчик. В нем не было никогда ни души. Наконец, еще одно окно из ряда каторжных одиночек тоже выхо-



дило на пустырь. Остальные же находились против стены цейхгауза.

В первый день, когда меня выпустили, дежурил Гаврилов. Я знал уже этот тип тюремных надзирателей. Это люди серьезные, семейные, дорожащие службой и не склонные к подкупу. Я убежден, что Ефремов передавал Фомину записки не в его дежурство или, по крайней мере, без его ведома. Подкупать легче было другого. Но зато Гаврилов был доступен простым человеческим движениям души, не делал ничего лишнего для отягчения участи заключенного и рад был сделать все, что не ставило его в положение "отчаянного", легкомысленного, рискующего человека. Между прочим, он охотно вступал со мною в непродолжительные, правда, беседы; он интересовался, есть ли у меня жена и дети, прибавил, что у него их трое, что всех надо кормить. Потом спросил, есть ли отец и мать, и покачал при моем ответе головою. Он, видимо, был очень доволен, отворяя мне камеру и выпуская меня на прогулку. Сам он сел на обрубок и просидел на нем, подремывая, все время, пока я ходил, разминаясь, взад и вперед.

В один из этих моих рейсов, от ворот до стены швальни, я заметил, что в последнем окне мелькнуло лицо. Каторжник с обритой наполовину головой делал мне какие-то жесты. Я удивленно остановился, но он тотчас же скрылся за стеной камеры. Я понял: мне не следовало останавливаться, так как сторож или солдат могли заметить это, и потому я прошел мимо тем же размеренным шагом.

Подходя во второй раз к этому окну, я замедлил шаги и посмотрел искоса, не поворачивая головы. Арестант опять стоял у окна и махал руками, как птица.

Это опять продолжалось лишь несколько секунд. Зато почти минута оставалась на обсуждение таинственного сигнала. Что он хочет сказать? Неужто эти птичьи размахи означали намек на свободу, на вольный полет?

С этим вопросом в уме я опять поравнялся с окном. Мой таинственный собеседник сидел на подоконнике на корточках. Пока я миновал его и пока поворачивался назад, он все подымался во весь рост, хватая воздух руками, и всей белой фигурой, выделявшейся на

темном фоне окна, изображал приемы человека, который карабкается кверху. Я опять кинул недоумелый взгляд, но затем пришел к безошибочному заключению, что таинственный собеседник, несомненно, намекает на возможность побега.

Я шел к окну в четвертый раз. Теперь каторжник стоял неподвижно и только протянутой рукою указывал мне прямо на четырехугольник двора, за стеной цейхгауза. Затем он еще присел, поднялся, как будто делая прыжок, и взмахом обеих рук указал, что мне следует потом бежать вдоль тюремной стены направо. Я вспомнил, что тут крутые поросшие бурьяном пустынные обрывы горы ведут к реке Иртышу или Тоболу и что внизу раскинута прибрежная часть города, с трактирами и кабаками...

Теперь, пока я шел взад и вперед по двору, мое сердце усиленно билось, в висках стучало; я подошел к окну и тихо прошел мимо. Каторжник глядел вопросительно и ничего уже не показывал. Я уперся почти в стену швальни, плохо сознавая свое положение. Тут, поворачиваясь, я очутился прямо против досок, за-

крывающих окно моей камеры. Одна щель была расковыряна, и в нее на одно мгновение мелькнула часть моего окна. В камере мы оставили свет, который теперь освещал пустое пространство между стеной и досками. В этой освещенной пустоте было что-то жуткое.

Я круто повернулся и пошел за стенку цейхгауза.

Бревенчатая стена примыкала к каменной. Она была сложена из толстых лиственниц, а так как лиственница очень щелевата, то в каждом бревне были широкие щели, за которые легко было цепляться концами пальцев. Это была удивительная оплошность тюремной администрации, одна из тех, которые являются невольной в деле, идущем день за днем по заведенной рутине. Впрочем, может быть, администрация знала слабое место этого двора, и потому-то Фомина, известного беглеца, не выпускали вовсе. Каторжники гуляли днем, когда скрыться немислимо. И только я в эту минуту стоял лицом к лицу с начальственным недосмотром. Крыша цейхгауза не доходила вплоть до верхушки стены, но тут оставалось не более полутора аршин.

Очутившись вне взглядов моих сторожей, я быстро подошел к углу и стал карабкаться кверху. Помню, что в это время у меня не было определенного плана. Сердце билось, в висках стучало, в воображении рисовалась верхушка крыши и гребень стены, потом заплаканное лицо матери, доброе лицо Гаврилова и его трое детей. Совесть говорила мне ясно, что я не должен пользоваться его доверием, что было бы гораздо лучше, если бы этот случай представился в дежурство Иванова. Но я карабкался кверху, повторяя про себя: все равно, это невозможно... Это я только пробую...

Может быть, все эти разнообразные ощущения были причиной, мешавшей энергии моих усилий, или действительно препятствие было неодолимо, но только ноги скользили, пальцы тоже, подъем был труден и долг. Я соскочил с пятого бревна и тихонько пошел из-за угла. Когда я вышел, солдат и Гаврилов смотрели в мою сторону. Арестант тоже смотрел жадным взглядом, вытянув шею.

Весь этот вечер, в своей камере, я думал об

этом случае и о своем положении. Помню, что это было во вторник. В среду обыкновенно проходил мимо Тобольска пароход с арестантской баржей. Запирая меня на ночь, Гаврилов тихо сказал мне, что "может, завтра вы уедете. Завтра провезут политическую партию".

Я вздохнул с облегчением и как-то радостно посмотрел на доброго человека... В эту ночь я открыл форточку и долго смотрел в ясный клочок неба. Вечером я написал письма, проникнутые бодростью и надеждой...

Утром я спал долго и не слышал поверки. Эта вольность дозволялась мне в моей одиночке - в общих камерах все должны подниматься и выстраиваться при входе поверки. Первый звук, который я услышал, одеваясь, был долгий, гулкий, протяжный свисток, доносившийся с реки в мою открытую на ночь форточку...

Я быстро оделся, наскоро разболтал чай в полуостывшем кипятке, который был подан в отверстие, когда я спал, и стал ждать. Я знал, что баржа простоят несколько часов, так как с нее спустят и на нее примут еще партию то-

больских арестантов. Год назад я сам был на этой барже. Ее отвели тогда на середину реки, закрыли брезентами со стороны города, и мы, гуляя по палубе за решетками, старались приподнять брезенты и полюбоваться на красивый город с его крутой и высокою горой. Оттуда я видел впервые на верхушке горы и этот тюремный замок...

Эти воспоминания усилили мое нетерпение до степени лихорадки. Часы ползли медленно; я ходил по камере, кидался на кровать, опять вставал и бегал по своей клетке. Заслонка открылась, мне подали оттуда обед. Я не обратил внимания, кто подает его, взял, не говоря ни слова, миску, но есть не мог. Все равно, думал я, меня накормят товарищи на барже. И предвкушение скорой встречи, приветствий, расспросов, новых знакомств, может быть, встреч со старыми знакомыми, потом Красноярск, предстоящее свидание с сестрой и матерью, которые проехали туда год назад к сосланному одновременно с нами зятю, - все это промчалось в душе какой-то полурадостной, полумучительной бурей...

В таком настроении услышал я первый

свисток парохода. Я заметался, еще раз осмотрел свои вещи, как человек, который боится опоздать к пароходу... Но моя дверь оставалась запертой.

Вскоре за первым послышался второй, потом третий свисток. Еще через четверть часа - прощальный гул пронесся вниз по реке и замер. Очевидно, пароход обогнул тобольскую гору и партия плыла дальше. Я видел в воображении, как раскрываются брезенты, молодые люди и девушки жадно глядят из-за решеток, как тихо уплывают берега, церкви, здания Тобольска. И может быть, им видна еще на горе стена моей тюрьмы. Тупое отчаяние, над которым глухо закипало бессильное бешенство, овладело моей душой...

Я лег на кровать кверху лицом и лежал, не двигаясь, заложив руки под голову. Помню очень хорошо, что я ни о чем не думал. В голове моей не было ни мыслей, ни представлений, ни образов. Это была тяжелая пустота.

И однако, странно: в этой пустоте как-то само собой созрело решение. Когда я поднялся со своей постели, оно было готово, и я начал действовать, как будто исполняя чьи-то



распоряжения.

Прежде всего я принялся за простывший обед и съел почти все. Потом открыл чемодан и развязал узлы.

В одном из узлов у меня был чекмень, вроде казакина из легкой мерлушки, покрытой так называемой чертовой кожей. Это был подарок одного мало мне знакомого доброжелателя. Незадолго до моей высылки он приехал в Пермь, стараясь склонить меня на некоторые предприятия, от которых я, однако, решительно отказался. В те несколько часов, которые мне были оставлены от объявления о высылке до отхода поезда, ко мне приходили многие пермские знакомые, пришел и он. Отозвав меня в сторону, он подарил мне этот чекмень и сказал, что около воротника, на спине, есть карман, сделанный необыкновенно ловко, который можно вскрыть.

- Может быть, пригодится, - прибавил он. - А тогда мы опять увидимся и потолкуем о том, что я предлагал вам... Думаю, вы тогда будете сговорчивее...

Я поблагодарил и принял, улыбаясь, подарок. Я думал, что чекмень может пригодиться

и без кармана на спине. Теперь я тотчас же распорол шов около воротника и вынул оттуда два серых полулиста бумаги. Один был "вид на жительство". В нем говорилось, что чернский, Тульской губ., мещанин Иван Иванов отпускается во все города Российской империи для сбора, по доверенности причта такой-то церкви, на возобновление сторевшего в 1879 году храма. Другой удостоверял с приложением церковной печати и за подписью дрожащей руки какого-то благочинного, что я по усердию взялся сделать дело господне, к коему и приглашаются усердные даятели. Я тщательно перечитал оба документа, рассмотрел подписи исправника, мещанского старосты и причта, потом критически исследовал печати. Они были оттиснуты довольно явственно, но не так, однако, чтобы возбудить подозрение излишней отчетливостью. Все было в порядке.

Потом я стал перебирать бумаги и письма. Это была переписка с матерью, сестрой, друзьями, с девушкой, которая впоследствии стала моей женой. Все это теперь нужно было уничтожить, чтобы эти имена не фигурирова-

ли в официальной переписке по моему делу. Я знал по опыту, что всякое самое простое упоминание фамилии - есть своего рода зараза. Имя упоминалось, значит - человек "замешан".

Когда я перечитал последнее письмо матери и поднес его к свечке, невольная слеза зашевелилась в глазах. Мне представился ясно этот новый удар моей матери, но что меня не остановило. Здесь или за стеной - я для нее уже не существую. Листок загорелся, и мне казалось, что вместе с последним язычком пламени исчезло все мое прошлое. С этих пор я становился фактически чернским мещанином Иваном Ивановым. Мой план был готов и полон.

Затем я вскрыл и несколько строчек, написанных на обертке удостоверения химическим способом. Здесь мой доброжелатель записал при помощи шифра несколько адресов в разных городах Сибири и Восточной России. Это были имена лиц, принимавших участие в подпольной организации так называемого "красного креста", имевшей целью способствовать побегам, впоследствии открытой

правительством.

Заучив на память два тобольских и еще несколько адресов в других городах России, я смыл самую надпись. Если бы эти документы даже попались в руки тюремщиков, никому не пришло бы в голову, что здесь были еще надписи, которых совсем не видно. Потом я пересчитал бывшие со мною деньги, около сотни рублей, и привел все в прежний вид.

После проверки, в те четверть часа, которые еще оставались до прогулки, я наскоро переоделся в другое платье, надел под пальто чекмень, в котором никто не видел меня в тюрьме, спрятал в карман барашковую шапку, вид на жительство и, готовый к выходу, стал ожидать прогулки.

Сердце во мне теперь не билось, и думаю, что вид у меня был совершенно спокойный. А между тем где-то глубоко, глубоко, на дне души лежала тяжелая горечь и озлобление... Что сделал я, за что судьба вела меня этими незаметными, постепенными и неизбежными переходами к этой минуте...

По характеру, по всем склонностям, я, мечтатель и художник, склонный к мирным за-

нятиям, к рефлексии и наблюдению, теперь я стою у порога новой и чуждой мне жизни. Это было в третий раз, но этот раз гораздо сильнее, чем оба предыдущие: судьба толкала меня на этот путь. Я сознавал ясно, что я, Владимир К-о, теперь начинаю умирать. Через час - я буду или действительно мертв, или вместо меня народится на свет мещанин Иван Иванов, существо скрытное, преследуемое, обзленное, которому предстоит двойная, странная жизнь, полная неведомых приключений и тайны. И я чувствовал, что это уж буду не я. Моя судьба поведет меня дорогой, которая мне чужда и неприятна. И куда приведет меня та сила, которая теперь так властно предписывает мне все, что я исполняю с отчетливостью повинующейся машины, - я уже не мог ни предсказать, ни предвидеть... В последние минуты мой личный нерешительный и мягкий темперамент сказался опять какой-то жгучей тоской, безграничной жалостью к себе самому, к своей нравственной личности, ко всему, чем я жил до сих пор, что думал, во что верил, на что надеялся. Потом опять лицо матери взглянуло на меня с тоск-

ливой мольбой... Но это было неясно и недолго. Я чувствовал, как кровь отливает у меня от сердца, как брови мои сжимаются...

Наверное, лицо мое было очень бледно, а глаза горели лихорадочным огнем... Во мне поднимался протест против разнеженности и "добрых" побуждений мягкой и слабой души. Этот протестующий и строгий голос говорил мне, что ничто и никто не судья теперь того, что я сделаю впоследствии... Потому что я буду теперь мстить... Мстить всему, что убило во мне прежнего человека, что привело меня к этой минуте, что сделало из меня чернского мещанина Иванова. И я чувствовал, что мне нет уже другого суда, кроме этого голоса...

### VIII

Замок тихо щелкнул, дверь открылась...

На пороге стоял Гаврилов.

- А, это опять ты? - сказал я, пораженный его появлением довольно неприятно. Я представлял себе, что меня будет сторожить теперь это грубое животное Иванов, и мне доставляла некоторое наслаждение мысль, что своим побегом я подведу именно его, что мещанин Иванов первыми своими шагами по-

губит Иванова тюремщика.

- Да, барин, опять я. Иванов отпросился на именины к матери.

"Ну, все равно, - подумал я. - У меня тоже есть мать..." Но эта мысль теперь уже меня не смягчала, а ожесточала еще больше.

- А пароход-то ушел? - сказал я с горечью, как будто в этом виноват именно он, Гаврилов.

- Так точно, барин. Ушел, - сказал он сконфуженно, как будто и сам признавал себя виновным.

Он отвернулся и вздохнул.

- Ничего, бог милостив. Сказывали в конторе, будто вас увезут опять с жандармами, на тройке.

Я пронизал его взглядом. Я был убежден, что он врет и отворачивает глаза потому, что слышал совсем другое... Его утешения подымали во мне глухую злобу. "Утешаешь, добрый человек, - думал я с горечью. - Эх вы, добрые люди! Нет ничего хуже русского доброго человека... Разве не он, не русский добрый человек, виноват во всем? Разве он, жалеючи, не сторожит в тюрьмах всякого, кто стремится

ся к свободе и правде?.. Ну хорошо же, - думал я с ожесточением, - сторожи же теперь, добрый человек, покрепче. Не я виноват, если ты, по своей доброте, зазеваешься. Каждому свое. Ваше дело смотреть, а наше освободиться. Пусть каждый делает свое дело, а детей, страдающих и плачущих об отцах, не меньше и даже больше на нашей стороне, чем на вашей... Правда, когда-то, и еще недавно, я думал, что этих добрых людей надо жалеть и щадить... Но это "недавнее" было все-таки так давно. Меня уже нет... Жалел NN, а теперь будет мещанин Иванов..." Очень может быть, что Гаврилов заметил мое настроение. Может быть, если не сознание, то чувство шевельнулось в нем в том же направлении, в каком шла теперь моя мысль, и, вынимая ключи из замка, пока я выходил, он сказал тихо:

- А я, барин, скоро брошу эту службу.

Эту фразу я слышал второй раз от своих тюремщиков. В первый раз она меня очень обрадовала. Теперь только обозлила. То же самое, может быть, ты, "добрый человек", повторял Фомину, пока он не умер, и ты все-та-



ки запирали его аккуратно, произнося свои добрые слова и немудрые утешения...

Я ничего не ответил, и он не пытался заговорить больше. Мы были опять на узеньком дворике. Он сел на свой обрубок и даже повернулся к стене. Мне показалось, что он сделал это не случайно, что ему немного стыдно теперь следить за мной.

"Ладно, - подумал я опять. - Ты можешь деликатничать потому, что надеешься на замки и на высокие стены. Посмотрим".

Около Гаврилова тихо ласкалась и визжала маленькая собачка...

## IX

Первый мой взгляд был опять на крайнее окно. Каторжника не было видно, когда мы проходили вместе с Гавриловым. Но в первый же раз, как я пошел мимо один, он опять появился, ткнул пальцем в угол четырехугольного пустыря и нырнул за стену так быстро, как будто боялся последствий. На обратном пути я внимательно посмотрел в этот угол и вздрогнул.

Чего добивался мой искуситель или искусители, - так как теперь мне было совершен-

но ясно, что все каторжное отделение принимало участие в моей судьбе? Было ли это участие или простое любопытство?.. Правда, что нам часто приходилось встречать проявление товарищеского участия со стороны каторжан, которые видели, что для нас, "политических", тюрьма готовит все свои суровости и стеснения, не представляя взамен никаких облегчений, связанных с обществом себе подобных и с артельной жизнью. Однако в ту минуту мне представилась другая сторона дела: так скучно сидеть месяцы и годы в этом дворике, так однообразно идут дни за днями... А тут побег, может быть, выстрел часового на верхушку стены, может быть, стон и падение человеческого тела, а может быть, и удача, за которую переберут все начальство... Это, конечно, хорошая программа для временного увеселения тоскливого и тесного военно-каторжного дворика.

Думаю, что я был совершенно не прав по отношению к моим соседям и, если хотите, товарищам того времени.

Если бы я действительно убежал, следы несомненного содействия со стороны катор-

жан должны были бы обнаружиться и все отделение подверглось бы репрессиям и стеснениям. А на это, несомненно, также не мог бы решиться ни один из членов этого общества самовольно. Итак, это сделано было, по всем видимостям, именно каторжной артелью, и каторжная артель действовала бескорыстно и даже самоотверженно.

Как бы то ни было, но дело в том, что, пока я сидел в своей конурке в течение дня, арестанты, гулявшие по двору, натыкали в щели бревенчатой стены цейхгауза обломки железа, толстые щепы, а в одном месте торчало даже сломанное долото. Все это образовало теперь вертикальную лестницу почти до крыши.

Невольная дрожь пробежала по мне при виде этой дороги к свободе или к смерти...

Я быстро прошел мимо и потом замедлил шаги, чтобы еще раз обдумать свое положение. Что-то говорило мне, что я поступаю нерасчетливо и безумно. Кто мне сказал, что я останусь здесь надолго? Один только свисток удалявшегося парохода и мрачная камера, в которой как будто бродил призрак

несчастливого Фомина... И из-за этого я рискую своей судьбой, этим бедным Гавриловым, у которого трое детей, этим часовым, который теперь склонился головой на ружье. Наконец, горем матери, жизнь которой, я чувствовал это, ставится теперь на карту вместе с моей...

Однако все это шевелилось где-то слишком глубоко, как это случается часто... Теперь, когда я вспоминаю весь этот эпизод, эти сообщения меня трогают и разнеживают, но в то время я их почти не сознавал. Как будто они тихо всплывали со дна души, но на поверхности сознания появились уже значительно позже.

Я, или, вернее, тот, другой мещанин Иванов, решил за меня, что я пройду еще три раза, а на четвертый незаметно скользну за стену. С этой мыслью я весело кивнул каторжнику и пошел дальше. В окне смотрительской квартиры мелькнули очертания детской головки. "Еще, быть может, одна невинная жертва, - подумал я про себя. - Отец будет без места, мать будет плакать, девочке придется, пожалуй, голодать и томиться..." Но тотчас же эту мысль сменило беспокойство. Она увидит

меня на крыше! Впрочем, что же поймет ребенок, а если и поймет, то, пока она позовет отца, я уже буду на пустыре, за стеной, или...

Проходя мимо солдата, я взглянул на угол крыши, прилегающей к стене. Здесь я буду виден ему совершенно ясно, значит, нужно будет вооружиться ловкостью для последнего прыжка с крыши на стену. Впрочем, я много занимался гимнастикой и прыгал очень легко и ловко...

В третий раз, подойдя к углу цейхгауза, я круто повернул за угол. Гаврилов по-прежнему сидел на своем обрубке, понутив голову, собачки с ним не было. Солдат охватил штык руками и свесил голову дремотные сумерки нагнали на него сон или тихие мечты о далекой родине, может быть, тоже о жене и о детях.

Каторжник смотрел в окно, вытянув шею, точно хищная птица...

Я быстро скинул пальто и попробовал первые ступени. Все было прикреплено прочно. Я взялся за обломок долота, потом ступил шаг, другой... Помню, что в эти несколько секунд во мне замерли все соображения. Я ничего не

думал, ничего не вспоминал, кажется, был совершенно спокоен и видел ясно только деревянный сруб цейхгауза, натыканные в щели ступеньки импровизированной лестницы и гребень стены...

Х

Не знаю, что предстояло мне через минуту, если бы не неожиданная случайность. Теперь мне казалось уже, что там, за стеной, я был бы почти наверное свободен. Наружного караула не было. Стена очень высока, но я прыгал ловко. Моим тюремщикам придется пробежать три двора, а в это время я спущусь в юрод и буду у людей, адрес которых помнил. В одежде, в которой никто в тюрьме меня не видел, с паспортом в кармане, мне стоило еще остричь буйные волосы и сбрить бороду - и я мог бы безопасно ходить по улицам Тобольска... Меня не узнал бы красивый плотницкий мастер...

Если бы на крыше лист жести загремел под ногой или я оборвался бы со стены, тогда, наверное, пуля часового уложила бы меня на месте, - или меня прикончили бы озверевшие тюремщики. Случай, вероятно, заставил бы

говорить о себе...

Побег из тюрьмы несомненное преступление. Солдат, застреливший беглеца, только "исполнил бы свой долг", а преступник понес бы должное наказание... Этим наказанием и была бы импровизированная смертная казнь...

Пришло ли бы тогда кому-нибудь в голову проверить хоть на этот раз первоначальное обвинение и все ступени этой фатальной лестницы "печальных недоразумений", которые привели меня, невинного, не осужденного и даже никогда ни в чем не обвинявшегося, под пулю столь же неповинного солдата?..

- Мы должны согласиться, - говорил мне впоследствии один либеральный господин в департаменте полиции, - что первоначальная ваша ссылка была результатом "печального недоразумения"... - Одним "недоразумением" больше или меньше, что за беда! Мой избитый труп похоронили бы в деревянном ящике, наскоро сколоченном тюремным плотником... Получилось бы в Петербурге соответствующее донесение, которое пришили бы к делу "об административно-сосланном N". Мо-

жет быть, тогда его превосходительство счел бы не лишним перелистовать дело. Может быть, при этом обнаружилось бы, что все первоначальные подозрения по отношению ко мне давно пали сами собой...

Вздыхнул ли бы, по крайней мере, его превосходительство о напрасно загубленной жизни этого "по недоразумению" сосланного молодого человека, подумал ли бы, что ряд тюрем, ссылок, наконец, смерть от пули - слишком суровое наказание за все, что прочитано только в сердце молодого студента да еще плохо прочитано полуграмотным шпионом?..

## XI

К счастью, от последнего вывода меня спасла маленькая собачка. Это была черная небольшая дворняжка, почти щенок, которого обыкновенно приводил с собою и ласкал Гаврилов. Иванов гонял ее, и потому она показывалась только в дни дежурства Гаврилова на дворике каторжного отделения. Теперь, получив от Гаврилова свою долю хлеба и ласки, она, довольная, свернулась на куче мусора, в уголке за цейхгаузом и мирно дремала.



Помню, что она поглядела на меня, когда я свернул за угол, как-то искоса, умными черными глазами, но ничем более не выразила своих подозрений. Однако, по-видимому, тюремный хлеб делает тюремщиками даже животных. Как только я стал подыматься на свою воздушную лестницу и повис на третьей или четвертой ступеньке, собака нашла, что это уже слишком. Она внезапно с визгом подбежала к стене, подпрыгнула и, ухватясь за полу моего казакина, повисла на ней всей своей тяжестью.

Все было, разумеется, кончено. Я услышал крик и шаги Гаврилова. Добрый человек объяснил очень просто мою отлучку за угол, и мне нужно было удержать его в этом убеждении. Я легко спрыгнул на землю, отбежал шага три и быстро надел скинутое пальто. Соскакивая, я видел в окне моего доброжелателя каторжника. Он безнадежно взмахнул руками и скрылся за стеной...

Не знаю, догадался ли Гаврилов о настоящей причине этого эпизода. Я отошел от угла, чтобы он не увидел устроенной арестантами лестницы, и продолжал надевать пальто на

ходу. Солдат оглядывался чутко и беспокойно. Гаврилов хотел было пнуть собаку ногой, но она отбежала так разумно и с таким видом своей правоты, что он не пошел за ней к ее куче мусора и только задумчиво несколько раз перевел свои глаза то на нее, то на меня...

- Пожалуйста в камеру, пора, - сказал он мне наконец с каким-то особенным выражением.

## XII

Должно быть, арестанты успели наутро разобрать свои сооружения незаметно для начальства; по крайней мере, мне не удалось узнать о последствиях этого эпизода для казначейского отделения.

А вскоре дверь моя отворилась как раз перед прогулкой, но вместо прогулки Гаврилов пригласил меня собрать вещи.

- Слава-те господи, на волю! - сказал он с искренней радостью.

Воля для меня представилась в виде двух бравых жандармов, которые ждали в конторе. Принимая меня из тюрьмы, они не были слишком строги при обыске моих вещей...

В последнюю минуту прискакал красивый

полицмейстер. Он опять радушно попрощался со мной и лукаво погрозил пальцем.

- Скажите, пожалуйста, - спросил я, обращаясь к нему и к зрителю, на каком основании вы держали меня в военно-каторжном отделении?

Каменное лицо зрителя осталось неподвижно, но полицмейстер захохотал, закинув назад свою голову в папахе.

- А что? - спросил он. - Вы находите, что вид отсюда не обширный?

- Помилуйте, даже окно забрано досками...

- Так лучше, господин К., меньше видно. Мы не любим, когда об нас пишут, - прибавил он, многозначительно улыбаясь и пожимая мне на прощание руку.

Я тоже невольно засмеялся и вздохнул полной грудью, когда за мной щелкнули замки тяжелых ворот. У ворот стояла тройка бойких сибирских лошадей. Один жандарм устроился уже в седенье, другой, по правилам, дожидался, пока я сяду в середину. Ласковая, хотя и свежая августовская ночь приняла нас вскоре в свои владения.

Мы мчались быстро и без остановки. Я не

спал, любясь то степью, то темным лесом, то туманом над какой-нибудь речкой, то ночным перевозом с заспанными фигурами перевозчиков, чуть видными в темноте, то тихим позвякиванием колокольчика, которое дрожало над сонной рекой и отдавалось в бору противоположного берега.

Все это - и ночь, и дали, и горы, и звезды, и туманы - казалось мне исполненным невиданной прелести... Я чувствовал себя точно вновь родившимся, и действительно я опять был - я, имярек, хотя на мне был все тот же казакин чернского мещанина Ивана Иванова.

Но чернский мещанин Иван Иванов мирно покоился у меня за спиной все в том же потайном кармане.

Вдобавок жандармы сообщили мне "по доверию", что мой предшественник Фомин жив и переведен в Карийск. Это настоящая каторга, но все же не смерть в одиночке...

Я мчался тоже в далекую ссылку, но что за дело!.. Я был полон жизни и надежд, неясных, как эти дали, искрившиеся в золотистых туманах лунной ночи...

